

Владимир
Войнович

дваПЛЮСОДИН
в серии фляжки



Владимир Николаевич Войнович

Портрет на фоне мифа

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=131576

Войнович В.В. Дваплюсодин в одном флаконе: Эксмо; Москва; 2010
ISBN 5-04-010253-4

Аннотация

«...Когда некоторых моих читателей достиг слух, что я пишу эту книгу, они стали спрашивать: что, опять о Солженицыне? Я с досадой отвечал, что не опять о Солженицыне, а впервые о Солженицыне. Как же, – недоумевали спрашивавшие, – а «Москва 2042»? «Москва 2042», отвечал я в тысячный раз, не об Александре Исаевиче Солженицыне, а о Сим Симыче Карнавалове, выдуманном мною, как сказал бы Зощенко, из головы. С чем яростные мои оппоненты никак не могли согласиться. Многие из них еще недавно пытались меня уличить, что я, оклеветав великого современника, выкручиваюсь, хитрю, юлю, виляю и заметаю следы, утверждая, что написал не о нем. Вздорные утверждения сопровождались догадками совсем уж фантастического свойства об истоках моего замысла. Должен признаться, что эти предположения меня иногда глубоко задевали и в конце концов привели к идее, ставшей, можно сказать, навязчивой, что я должен написать прямо о Солженицыне и даже не могу не написать о нем таком, каков он есть или каким он мне представляется...»

Содержание

Владимир Войнович	4
Конец ознакомительного фрагмента.	19

Владимир Войнович Портрет на фоне мифа

Когда некоторых моих читателей достиг слух, что я пишу эту книгу,

они стали спрашивать: что, опять о Солженицыне? Я с досадой отвечал, что не опять о Солженицыне, а впервые о Солженицыне. Как же, – недоумевали спрашивавшие, – а «Москва 2042»? «Москва 2042», – отвечал я в тысячный раз, не об Александре Исаевиче Солженицыне, а о Сим Симыче Карнавалове, выдуманном мною, как сказал бы Зощенко, из головы. С чем яростные мои оппоненты никак не могли согласиться. Многие из них еще недавно пытались меня уличить, что я, оклеветав великого современника, выкручиваюсь, хитрю, юлю, виляю и заметаю следы, утверждая, что написал не о нем. Вздорные утверждения сопровождались догадками совсем уж фантастического свойства об истоках моего замысла. Должен признаться, что эти предположения меня иногда глубоко задевали и в конце концов привели к идее, ставшей, можно сказать, навязчивой, что я должен написать прямо о Солженицыне и даже не могу не написать о нем таком, каков он есть или каким он мне представляется. И о мифе, обозначенном этим именем. Созданный коллективным воображением поклонников Солженицына его мифический образ, кажется, еще дальше находится от реального прототипа, чем вымышленный мною Сим Симыч Карнавалов, вот почему, наверное, сочинители мифа на меня так сильно сердились.

Однако, приступим к делу и начнем издалека.

Игорь Александрович Сац

почитал многих писателей, но больше других Щедрина, Зощенко и Платонова, которых постоянно к месту и не к месту цитировал. Был, однако, еще один автор, стоявший выше всех перечисленных, он был Сацем любим особенно и мне настоятельно рекомендован.

– Читайте Ленина, – говорил мне Сац, – и вы все поймете. Прочтите для начала «Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов?». Или «Материализм и эмпириокритицизм». Или «Государство и революция». Или – еще лучше – потратьте время, прочтите внимательно полное собрание его сочинений, и вы увидите, что у него написано все по все.

Был вечер декабря 1961 года.

Мы с Сацем сидели у него в его отдельной двухкомнатной квартире без туалета. Туалет общий находился в конце длинного коридора. Но отдельная квартира даже без уборной – роскошь, по тем временам неслыханная. К тому же столь удобное расположение – на углу Арбата и Смоленской площади. Тут же тебе метро и один из самых больших в Москве гастрономов.

Мы пили водку, закусывали жареной картошкой с ливерной колбасой и разговаривали.

Любовь к подобному препровождению времени была у нас общей, несмотря на разницу в годах – мне 29, а ему вдвое больше.

Фамилия Сац дала России целый букет самых разных талантов. Известный в свое время композитор Илья Сац приходился Игорю Александровичу дядей. Дочь дяди Наталья Ильинична, смолоду угодившая в лагерь, была потом известна как драматург, режиссер и многолетний руководитель детского театра. Сестра Игоря Наталья Александровна Сац-Розенель прибавила себе третью фамилию, выйдя замуж за ленинского наркома просвещения Анатолия Луначарского. Другая сестра – Татьяна Александровна – была хореографом, руководителем балета на льду и тренером многих известных фигуристов. Сын Саша стал потом

известным пианистом. Сам Игорь Александрович тоже начинал как пианист и, как я слышал не от него, подавал очень большие надежды. Но после ранения в руку еще в Первую мировую войну был вынужден эти надежды оставить. Стал литературным критиком и редактором. Владел несколькими европейскими языками, знал многих знаменитых людей своего времени: у Николая Щорса был адъютантом, у Анатолия Луначарского – литературным секретарем, дружил с Андреем Платоновым, Михаилом Зощенко, Александром Твардовским и... со мной.

Осенью 1960 года, когда моя повесть «Мы здесь живем» была принята к печати журналом «Новый мир», Игоря Александровича дали мне в редакторы, на чем мы с ним и сошлись. К моменту нашего знакомства он был уже совершенно сед (волосы густые, белые с желтизной) и беззуб. Что-то с ним случилось такое, что дантист предложил ему вытащить все зубы, и он согласился. Зубы удалялись четыре дня подряд (по несколько штук за один раз). Жена Саца Раиса Исаевна выдавала мужу скромную сумму, чтобы после каждого удаления он мог ехать домой на такси. Он, прикрывая окровавленный рот рукой, добирался на общественном транспорте, а проездные деньги тратил на четвертинку. Выпить он любил, но подчеркивал, что он не алкоголик, а пьяница, потому что пьет только по вечерам и в компании. В описываемое время его вечерней компанией часто бывал я.

Меня удивляло, что любую пищу и даже хлебные корки он ухитряется пережевывать одними деснами. Но понимать смысл им произносимого было непросто. Из-за беззубости он шамкал, при этом говорил так тихо, что я не все слова разбирал, сколько ни напрягался, а кроме того, свою речь он часто прерывал долгим, громким, залившимся смехом и при этом заглядывал мне в глаза, принуждая и меня смеяться вместе с ним, что я и делал из вежливости и через силу. Поводом для смеха были остроумные, как ему казалось, цитаты, приводимые им в доказательство его мысли из любимых авторов: все тех же Щедрина, Зощенко и того же Ленина, который, по мнению Саца, тоже был очень большой сатирик.

В тот вечер мы на Ленина потом неизбежно соскочили, а сначала темой нашей было только что произошедшее событие: Твардовский прочел мой новый рассказ «Расстояние в полкилометра», пригласил меня к себе, очень хвалил, наговорил мне таких слов, какие, по уверению Саца, редко кому приходилось слышать.

Сац был этому тоже искренне рад. Он считал меня своим открытием. С этим справедливо не согласна была Анна Самойловна Берзер – она меня прочла и оценила первая. Но и Сац следом за ней отнесся ко мне хорошо. Мнение Твардовского подтверждало, что Игорь Александрович во мне не ошибся.

– Есть писательские способности двух категорий: от учителей, которые можно вырабатывать, и от родителей, с которыми надо родиться. Ваши – от родителей, – говорил мне Сац и сам был высказанной мыслью доволен.

Конечно, я слушал это, развесив уши.

Он мне много рассказывал о Луначарском, который был, по его мнению, высокообразованным человеком и талантливым драматургом. Автором пьесы «Бархат и лохмотья» и героем эпиграммы, звучавшей так: «Нарком сшибает рублики, стреляя точно в цель. Лохмотья дарит публике, а бархат – Розенель». Был и анекдот о наркоте и двух его дамах – Сац (фамилия) и Рут (имя). Когда привратника спрашивали, где его хозяйин, тот (по анекдоту, а может, так и было) отвечал: «Да бог их знает. Они то с Сац, то с Рут».

Луначарского Игорь Александрович почитал, но Ленин... Ленин...

А я как раз был под впечатлением от другой личности. Я только что прочел какое-то сочинение о бактериологе Владимире Хавкине. Он вырос в России, жил в Бомбее и там разработал вакцину против чумы и холеры. Я сказал Сацу:

– Что ваш Ленин по сравнению с Хавкиным, который спас миллионы людей от чумы?

– Как вы смее так говорить! – закричал на меня Сац. – Сравнить Ленина с каким-то Хавкиным просто смешно. Ленин спас от чумы все человечество.

– По-моему, наоборот, Ленин не спас человечество, а заразил чумой.

Так сказал я и на всякий случай отодвинулся, потому что Сац, когда у него не хватало аргументов, начинал ребром ладони сильно бить меня по колену, а я ему ввиду разницы в возрасте ответить тем же не мог.

В это время раздался звонок, и в нашей комнате в сопровождении Раисы Исаевны объявился поздний гость —

Александр Трифонович Твардовский,

о котором мы говорили вначале.

Он был уже сильно навеселе во всех смыслах, то есть и пьяноват, и весел. Где-то по дороге он прислонился к стене, правый рукав его ратинового пальто от локтя до плеча был в мелу. Снявши пальто и лохматую кепку, пригладив пятерней редкие седоватые волосы, он сказал:

– Налейте мне рюмку водки, а я вам за это кое-что почитаю.

Рюмка, естественно, была налита.

Поставив на колени толстый портфель, Твардовский достал из него оранжевую папку с надписью на ней тисненными буквами «К докладу», развязал коричневые тесемки. Я увидел серую бумагу и плотную машинопись, без интервалов и почти без полей. А.Т. чуть-чуть отпил из рюмки, надел очки, осмотрел слушателей, и уже тут возникло предощущение чуда.

«В пять часов утра, – начал Твардовский негромко, со слабым белорусским акцентом, – как всегда, пробило подъем – молотком об рельс штабного барака. Прерывистый звон слабо прошел сквозь стекла, намерзшие в два пальца, и скоро затих: холодно было, и надзирателю неохота была долго рукой махать...»

Таких начал даже в большой литературе немного. Их волшебство в самой что ни на есть обыкновенности слов, в простоте, банальности описания, к таким я отношу, например, строки: «В холодный ноябрьский вечер Хаджи-Мурат въезжал в кузившийся душистым кизячным дымом чеченский немирной аул Махкет». Или (другая поэтика) в чеховской «Скрипке Ротшильда»: «Городок был маленький, хуже деревни, и жили в нем почти одни только старики, которые умирали так редко, что даже досадно». Или вот в «Школе» Аркадия Гайдара (что бы ни говорили теперь, талантливый был писатель): «Городок наш Арзамас был тихий, весь в садах...»

Такие начала, как камертон, дающий сразу верную ноту. Они завораживают читателя, влекут и почти никогда не обманывают.

Твардовский читал, и чем дальше, тем яснее становилось, что произошло событие, которое многими уже предвкушалось: в нашу литературу явился большой, крупный, может быть, даже великий писатель.

Десятилетие с середины пятидесятых

до середины шестидесятых годов, названное впоследствии «оттепелью», было для литературы весьма урожайно. В поэзии и, с некоторым отставанием, в прозе одно за другим возникали новые имена молодых авторов, которые писали откровеннее и талантливее большинства своих предшественников советского времени. В «Юности», в «Новом мире», в альманахах «Литературная Москва», «Тарусские страницы» появлялись рассказы и повести дотоле неизвестных Юрия Казакова, Бориса Балтера, Василия Аксенова, Анатолия Гладилина, Георгия Владимова, Владимира Максимова, и что ни вещь, то сенсация и разговоры на каждом шагу: «Как? Неужели вы не читали «До свидания, мальчики»?» «А Юрий Домбровский вам не попадался? Вы должны это немедленно найти и прочесть». «Да что вы с

вашим Семеновым? Вот Казаков! Это же чистый Бунин!» Толпа талантов высыпала на литературное поле, поражая воображение читающей публики. Таланты писали замечательно, но чего-то в их сочинениях все-таки не хватало. Один писал почти как Бунин, другой подражал Сэлинджеру, третий был ближе к Ремарку, четвертый работал «под Хемингуэя». Но было предощущение, что должен явиться кто-то, не похожий ни на кого, и затмить сразу всех.

И вот в «Новом мире», ведущем журнале своего времени, обнаружилась повесть под странным, подходящим больше подводной лодке названием «Щ-854» неизвестного автора с незатейливым псевдонимом «А. Рязанский» и трудно запоминаемой собственной фамилией. У меня потом вертелось в голове: Солнежицын или Соленжицын. Твардовский тоже запомнил не сразу и записал в дневнике: Солонжицын. (Двадцать лет спустя я встретил американца, который, хвастаясь своим упорством, сказал мне, что несколько лет потратил, но все-таки научился произносить правильно фамилию Солзеницкий.)

У Твардовского была не очень свойственная советскому литератору черта – он редко, но искренне и независтливо радовался открытым им новым талантам. Влюблялся в автора. Правда, любви его хватало ненадолго. Всех без исключения потом разлюблял. Солженицын тоже. Но в тот вечер он был счастлив, как молодой человек, и влюбившийся, и ответно любимый. Он даже особо не пил, а только пригубливал водку и читал. Читал, останавливался, какие-то куски перечитывал, отдельные выражения повторял. Часто смеялся удачному словцу или фразе. Делая передышку, чтоб слегка закусить, с особым удовольствием обращался к хозяйке: «А подайте-ка мне маслица-хуяслица». Это из повести – употребляемые персонажами выражения, с которыми потом сам же Твардовский боролся. Вообще, надо сказать, он часто боролся с тем, что ему больше всего нравилось. Виктор Некрасов рассказывал, как Твардовский, будучи большим любителем выпить, вычеркивал у него всякие упоминания об этом занятии или смягчал картину: бутылку водки заменял ста граммами, а сто граммов – кружкой пива. В случае с Солженицыным редакция потом настаивала, и автор сравнительно легко согласился заменить «х» на «ф», и стало маслице-фуяслице, фуимется-подымется, но слово «смехуечки» Солженицын долго отстаивал, утверждая, что оно приличное, литературное, образовано корнем «смех» и суффиксом «ечк». Название он тоже долго отстаивал, а потом уступил, и компромисс пошел делу на пользу – «Один день Ивана Денисовича» звучит гораздо лучше и привлекательнее, чем то, что было.

Другой вечер Твардовский, насколько мне известно, провел у литераторов Лили и Семена Лунгиных (их квартира была известным в литературной Москве салоном), у них он читал то же самое вслух, и именно там слушал его Некрасов (в своих воспоминаниях Виктор Платонович ошибочно утверждает, что это было у Саца).

Сильно за полночь я отвез Твардовского на такси на Котельническую набережную. Пока ловили машину, он говорил мне (и потом многим другим), что повесть будет трудно напечатать, но зато, если удастся (а он на это надеялся, считая, что хороших вещей, которые нельзя напечатать, не бывает), потом все будет хорошо.

– **Хотите прогноз?** – сказал я. – **Повесть вы напечатаете**, но потом общая ситуация изменится к худшему.

Я никогда не выдавал себя за пророка и отвергал попытки (немалочисленные) моих почитателей приписать мне дар ясновидения (в других ясновидцев тоже не верю ни в одного, включая Иоанна Богослова и Нострадамуса, не говоря о ныне живущих). Но, наверное, я все-таки умел думать, видеть и понимать реальные тенденции и возможное направление их развития. Поэтому кое-что иногда предугадывал.

В описываемое время я видел, что события (как и раньше в российской истории) развиваются по законам маятника. Сталинский террор был одной стороной амплитуды, хрущевская оттепель приближалась к другой. Преемники Сталина, устав пребывать в постоянном страхе за собственную жизнь и видя все-таки, что страна гниет, согласились на ограничен-

ную либерализацию режима, но вскоре заметили, что удержать ее в рамках трудно, она стремится к завоеванию все новых позиций и дошла уже до пределов, за которыми неизбежно изменение самой сути режима. А они в режиме жить боялись, а вне его не умели. Режим мог держаться на вере и страхе. Теперь не было ни веры, ни страха. Народ распустился. И в первую очередь писатели и художники, которые имеют обыкновение распускаться прежде других. Пишут и говорят что хотят. Уже критикуют не только Сталина, но и всю советскую систему. И Ленина. Пренебрегают методом соцреализма, свои какие-то «измы» придумывают. Надо, пока не поздно, дать по рукам. Для себя сталинские строгости отменить, для других вернуть в полной мере. Ропот партийных ортодоксов усиливался.

Со временем у нас появится много умников, которые с презрением будут относиться к «оттепели», не захотят отличать этот период от предыдущего. Но на самом деле это был колоссальный сдвиг в душах людей, похожий на тот, что произошел за сотню лет до того – после смерти Николая Первого. Может быть, если прибегать к аналогиям, во время «оттепели» людям ослабили путы на руках и ногах, но это ослабление было воспринято обществом эмоциональнее и отразилось на искусстве благотворнее, чем крушение советского режима в девяностых годах.

Литература «оттепельных» времен явила впечатляющие результаты, а полная свобода, пришедшая с крахом советского режима, по существу, не дала ничего, что бы явно бросалось в глаза.

Но я о маятнике.

В 1962 году он еще двигался в сторону либерализации, но очень было похоже, что скоро дойдет до предела, а пределом, возможно, и станет – если будет напечатано – антисталинское сочинение Солженицына.

Так и случилось. Публикация солженицынского сочинения произвела в обществе такой переполох, какого, может быть, никогда никакое литературное сочинение не вызывало. Скромная по размерам повесть (сам автор называл ее рассказом), напечатанная в 11-м номере «Нового мира» за 1962 год, задела за живое всех. Одни радовались ее появлению безоговорочно. Другие считали, что тема затронута важная, но действительность слишком уж неприглядная, герой неактивный, а язык грубый. Третьи просто негодовали. Возмущались повестью лагерные начальники, кагэбэшники, прокуроры, судьи, партийные работники и казенные писатели-сталинисты. Повесть подрывала основы системы, в которой, и только в ней, эти люди могли существовать, занимать посты и ощущать себя важными персонами. Воображая себя незаменимыми и необходимыми стране государственными деятелями и художниками, эти люди на самом деле понимали, чего они будут стоить, если партия откажется от руководства. Перепугавшись до смерти, стали страшить Хрущева. Говоря, что свобода художественного выражения, к которой якобы стремятся люди искусства, заводит их далеко, сначала они хотят отойти от метода социалистического реализма, а потом от социализма вообще. В пример часто приводились Польша и особенно Венгрия, где все началось с литературного кружка и стихов Петефи, а кончилось вешанием коммунистов на фонарях. В конце концов ортодоксы добились своего: Хрущева застращали, и он сначала устроил истерику на выставке в Манеже, где на «неформальных» художников топал ногами, обзывал их «пидарасами», угрожал выгнать за границу или загнать в лагерь. Потом серией пошли так называемые идеологические совещания в Кремле, ЦК и МК, где громили опять писателей, художников, кинорежиссера Марлена Хуциева за безобиднейший фильм «Застава Ильича» и отдельно Виктора Некрасова, оценившего этот фильм положительно.

Я был человек провинциальный,

молодой и непуганый. Хотя тоже подвергся уже проработке. Тогдашний главный партийный идеолог Леонид Ильичев обругал как политически вредный мой рассказ «Хочу быть

честным» («Новый мир» № 2, 1963). Его возмутила попытка автора изобразить дело так, будто в нашей стране (в нашей, а не в какой-нибудь «тамошней») честному человеку труднее жить, чем нечестному. Слова идеологических вождей советская пресса воспринимала, как обученные собаки команду «Фас!». По команде немедленно появились в центральных газетах гневные статьи, написанные якобы трудящимися: «Точка и кочка зрения», «Литератор с квачом», «Это фальшь!», так что надо мной тоже тучи сгустились, но меня это по неразумению особо не беспокоило. Наоборот, мне при моем неуважении к власти даже лестно было быть опальным. Хотя я не совсем понимал, что их так уж беспокоит в моих писаниях.

Приглашенный на совещание второго уровня (его вел секретарь МК Николай Егорычев), я пришел туда, сел рядом с Давидом Самойловым и Юрием Левитанским, стал что-то острить по поводу речи ведущего и помню, как оба поэта посмотрели на меня испуганно и недоуменно. Они-то, в отличие от меня, были битые или видели, как были биты другие, и помнили, что вологодский конвой шуток не понимает.

Короче говоря, повесть Солженицына стала не только литературным явлением, но политическим и историческим событием. Она вселила надежды в одних, страх в других, а страх бывает порой причиной смелых поступков, каким был заговор партийной верхушки против Хрущева. Кажется, в списке обвинений при свержении Хрущева в 1964 году публикация «Ивана Денисовича» не значилась, но у меня нет сомнений, что она была не последней причиной объединения заговорщиков.

Но я забежал вперед.

А теперь – назад.

Я отвез Твардовского домой и по дороге просил его дать мне почитать рукопись этого Соло... как его? ... хотя бы на один день.

– Не на один день, а на два часа, – сказал Твардовский, – и не дома, а в редакции.

– Хорошо, – сказал я.

– Никуда не вынося и не делая никаких записей.

На то и другое я согласился охотно. Вынести рукопись для прочтения дома я был не прочь, а делать записи мне бы и в голову не пришло.

Я надеялся на том же такси добраться до дома, но водитель сказал, что его смена кончилась и он едет в парк. Пришлось мне ловить машину встречного направления, и я поймал другую, которая как раз шла из парка. С зеленым огоньком. Хотя в ней рядом с шофером уже сидел пассажир, крупного сложения мужчина в белом полушубке и в белой бараньей шапке. Я сел сзади, сказал шоферу, куда ехать, и только теперь он включил счетчик, предупредив, что довезет меня с небольшим крюком: «Вот только товарища до Земляного Вала подкинем».

После этого я сидел сзади, а они между собой разговаривали громко, и я понял, что товарищ – начальник колонны – возвращается с ночной смены домой. И все было бы ничего, но из этого же разговора я понял, что до работы в такси товарищ где-то на Урале служил в лагере каким-то начальником, был в связи с новыми веяниями и массовыми реабилитациями из МВД уволен и ему это очень не нравилось. Не нравилось, что теперь все говорят о каких-то репрессиях, все валят на Сталина и плетут о нем черт-те что, а он был мудрый политик и великий полководец, разгромил оппозицию и выиграл войну. С подчиненными бывал порой строговат, но зато в стране был порядок и поезда ходили по расписанию. При нем за прогулы сажали в тюрьму, а уволиться просто так было нельзя. А теперь здесь поработал, туда перешел, везде текучка и нехватка кадров, и даже в такси приходится брать кого попало. Молодежь безобразничает: у девок юбки короткие, у парней волосы длинные, а на прошлой неделе тестя умершего хотел сжечь в крематории, так там работает только одна печь и жгут только одних евреев.

Я таких разговоров слышал много, но сам в них, как правило, не встречал. А тут под впечатлением от только что услышанного шедевра и от разговора с Твардовским, я сильно вдруг разволновался и разозлился, постучал в спину водителю, как в дверь, и попросил его остановиться. А потом сказал сидевшему справа:

– А ты вылезай!

Тот удивился:

– Что?

– Вылезай! – повторил я. – Вылезай, сталинист, антисемит, вертухайская морда, давай вылезай!

– Да ты что? – растерялся шофер. – Ты что это говоришь? Это же мой начальник колонны.

– Ах, начальник колонны! Начальник, а пользуется казенным транспортом бесплатно. При Сталине тебе бы за это знаешь что было? Вылезай! – повторил я и толкнул его в спину.

Я в молодости способен был на сумасбродства, но, в общем, другого рода, а этот поступок удивил меня самого задним числом. Я удивился тому, во-первых, что ночью напал на двух мужиков, которые оба были здоровее меня и могли сделать из меня отбивную, и тому, во-вторых, что начальник колонны, побурчав что-то себе под нос, вдруг подчинился, вылез из машины и пошел вдаль, подняв воротник полушубка. А шофер по моему приказанию поехал дальше. При этом тоже что-то бурчал и поглядывал на меня через зеркало заднего вида. А я протрезвел и забеспокоился. Вдруг шофер заметит, что я не такой уж богатырь, и попробует помериться силами. На всякий случай, уподобившись чеховскому персонажу, я сказал ему, что я чемпион Европы по боксу и одним ударом убиваю быка. Его, как ни странно, это не испугало, а, наоборот, успокоило – раз чемпион, значит, наверное, не бандит.

– А как ваша фамилия? – спросил он почтительно.

– Соложенов, – сказал я, и он удовлетворился и даже сказал, что что-то слышал.

Когда он меня довез, счетчик показывал меньше двух рублей. У меня была десятка, а у шофера – только что из парка – не оказалось сдачи.

– Ну привезешь, когда накопишь, – сказал я.

И что ему стоило согласиться и уехать навсегда? Но он сказал, что приехать не сможет и, если нет выхода, готов считать, что довез меня бесплатно. Я, однако, на это не пошел, дал ему десятку без сдачи, заметив, что у меня сегодня особый радостный день.

В те годы я ложился очень поздно и вставал соответственно. А когда вышел в коридор, от соседей по коммуналке узнал, что рано утром какой-то таксист искал какого-то боксера, чтобы вернуть ему сдачу. Но, поскольку соседи никаких боксеров в нашей квартире не знали, шоферу пришлось уехать ни с чем.

Всю повесть «Щ-854» я прочел залпом,

получив ее в «Новом мире» из рук Анны Самойловны Берзер, которую я по дружбе называл Асей. Она уже давно (первая в «Новом мире») прочла повесть и передала Твардовскому, но ни одного из самых близких своих друзей не посвятила в редакционную тайну, пока ее не раскрыл сам шеф. Теперь она с удовольствием дала мне рукопись. Я заперся в одном из пустых кабинетов, прочел все залпом, пришел в еще больший восторг, чем накануне, и впервые от сочинения русской литературы моего времени. С того дня и почти на тринадцать лет Солженицын стал сильнейшим впечатлением моей жизни. И не только моей.

Первый раз я увидел его со спины.

Мне помнится, он был в дешевом костюме и, кажется, в парусиновой фуражке. Он входил в кабинет Твардовского вместе с Алексеем Кондратовичем, заместителем главного редактора. Оба двигались как-то медленно, мне даже показалось, что он шаркает ногами, а

Кондратович его поддерживает, чтобы он не упал. Моя фантазия дорисовала образ прошедшего лагеря и прибитого ими немощного беззубого старика. Через некоторое время Кондратович вышел и стал с восторгом рассказывать: «Ничего не уступает. Название повести не хочет менять. С «фуимется» согласился, но «смехуечков» не отдает. Мы ему говорим, что тогда мы не сможем его напечатать, а он говорит: и не надо, я ждал признания тридцать лет и еще подожду».

В «Новом мире» упрямых авторов уважали.

Все были в восторге от того, как он пишет, как держится и что говорит. Говорит, например, что писатель должен жить скромно, одеваться просто, ездить в общем вагоне и покупать яйца обыкновенные по девяносто копеек, а не диетические по рублю тридцать. Я выслушивал это (в передаче Кондратовича) с почтением и молчаливым самоукором. Сам я уже разбаловался, к родителям предпочитал ездить в купейном вагоне, а яйца покупал какие попадались – разница в сорок копеек мне не казалась существенной (хотя еще недавно и самые дешевые яйца не всегда были мне по карману). Все доходившие до меня высказывания Солженицына я воспринимал как очень мудрые, но одно немного смутило. Ахматова, с которой А.И. тогда встретился, сказала ему как будто: «Вас ждет испытание большой славой, не знаю, вынесете ли вы его». На что он вроде бы ответил: «Я вынес и не такое». Мне этот ответ слишком умным не показался. Испытание лагерем так или иначе вынесли миллионы. А испытание славой, как я догадывался, было гораздо коварнее.

Между тем Твардовский в порядке «пробивания» «Ивана Денисовича» делал какие-то хитроумные тактические ходы, которые были возможны и даже казались нормальными только в такой системе, какой была советская. Он понимал, что просто напечатать повесть вряд ли удастся, это может произойти только с высочайшего соизволения, и искал случая передать рукопись не кому-нибудь, а лично, как принято было говорить, дорогому товарищу Хрущеву Никите Сергеевичу. И это было правильно. В советском государстве никто ниже самого главного начальника подобного разрешить не мог. Но еще не дойдя до заветной вершины, Твардовский предлагал «Ивана Денисовича» для ознакомления Маршаку, Чуковскому, Симонову, Эренбургу и другим тогдашним советским «классикам» в надежде, что их мнение будет положительным и для Хрущева авторитетным. Те с охотой письменно отзывались, их восхищенные рецензии складывались в стопочку и ожидали подходящей минуты. На все эти ходы и уловки у Твардовского ушло около года, но в конце концов все разрешилось наилучшим образом. Повесть Хрущеву была передана, прочитана им, одобрена, напечатана, распространилась по всей стране, переведена на все языки, слава на Солженицына обрушилась такая, что не снилась ни одному живому писателю в мире и в истории.

Есть люди, которых называют сырами.

Это болельщики, но не футбольные, а театральные. У каждого из знаменитых артистов, раньше особенно у оперных теноров, а теперь поп-певцов есть круг горячих поклонников и поклонниц, вот они и есть сыры (женщин называют сырихами). Сыры ходят за своими кумирами по пятам, часами ожидают их у подъездов, мокнут под дождем или мерзнут, чтобы только взглянуть на них хотя бы издалека, посещают все спектакли с их участием, забрасывают их заранее заготовленными букетами, швыряемыми порой с такой яростью, с какой бросают гранату. И кричат, визжат, вопят: «Браво!» Как бы кумир ни пел или ни играл – «браво» и только «браво». Они не всегда могут отличить хорошее от плохого, они приходят в восторг только от появления на сцене своего любимца, и каждое его движение или слово приводит их в такое волнение, как будто на их глазах творится неповторимое чудо. Я знал одну сыриху-лемешистку, то есть помешанную на оперном певце Лемешеве. Она жила в коммунальной квартире, работала инженером на заводе, получала скромную зарплату, вела аскетический образ жизни, ходила во всем штопаном и чиненом, но бывала на всех спектаклях с

участием любимого тенора и всегда с цветами, которые стоили недешево. Где она брала на все это деньги, не знаю. Знаю только, что, если приходилось ей в день спектакля отсутствовать по каким-то причинам, она поручала кому-то из таких же сумасшедших купить букет и швырнуть под ноги кумиру. Она была миловидная женщина, но все ухаживания отвергала и замуж не вышла, хранила верность Ему, который вряд ли подозревал о ее существовании. Предметами культового обожания бывают артисты эстрады, театра и кино, но еще больше политические деятели. Одна женщина, вполне разумная и с чувством юмора, рассказывала мне, как в сороковом году, будучи молоденькой девушкой, шла в колонне демонстрантов по Красной площади, с восторгом смотрела на Сталина и думала: «Сказал бы он сейчас: умри за меня немедленно, немедленно бы и с радостью умерла».

Восторг в глазах с готовностью немедленно умереть за кумира я видел в кино или живьем, когда толпы приветствовали Гитлера, Сталина, Мао, Кастро, Ельцина. Немецкие сырихи кидались под машину Горбачева с таким же восторгом (и некоторые с воплем: «Хочу от него ребенка!»), с каким их бабушки – под автомобиль Гитлера. (Я, разумеется, не ставлю на одну доску Гитлера и Горбачева, ставлю фанатичек. Их вера может быть разной в разное время, но проявления всегда те же.)

Трудно сравнивать культ вождя, поддерживаемый государственной пропагандой, армией и карательными органами, с бескорыстным или почти бескорыстным культом писателя или артиста (часто не благодаря пропаганде, а вопреки), но в основе обоих лежит что-то общее. Общее состоит в романтическом преувеличении заслуг, душевных качеств, ума, способностей и деяний кумира и в непризнании или в недостаточном признании за собой не то что прав, а даже и свойств отдельной и суверенной личности.

В те годы Солженицын был идиолом читающей публики. До некоторой степени и моим. Романтическим побуждениям я был очень не чужд, хотя сам в себе этого не любил и выдавливал из себя романтика по капле, как раба. Я был склонен к патетике, которая у меня часто прорывалась в устной речи, но мало встречается в письменной, откуда я ее старательно изгонял или подавал как достойные насмешки мысли и поступки персонажей. Но и признаки скептицизма присутствовали в способе моего осмысления мира, не давая мне впасть в какую-нибудь веру или ересь безоговорочно. В данном же случае соблазн сотворения кумира все-таки мной овладел.

Преклонение человека перед личностью, группой людей, учением, политическим устройством бывает столь активным, что превращается в род душевного заболевания, которое я в зависимости от предмета поклонения называю идолофренией, измофренией или в данном случае – солжефренией.

Мои встречи с Солженицыным

были случайными, мимолетными, но я их запомнил, вероятно, все. Первый раз не со спины я встретил его в коридоре того же «Нового мира». Я вошел с улицы и сразу же у дверей увидел Владимира Тендрякова, с которым дружил. Он разговаривал с кем-то, меня оставил, вот познакомься, я протянул руку и, еще не дотянув, понял: это и есть Солженицын. Он был простоват лицом, гладко брит и вовсе не немошен, как мне показалось вначале, а, наоборот, моложав, розовощек и, видимо, полон сил. Ногами не шаркал. И никак не походил на мрачного и согбенного зэка с разошедшейся уже фотографии с номерами на груди, на колене и на фуражке, похожей на те, что носят теперь русские генералы в Чечне. Он широко и радостно улыбался, обнажая красивые ровные зубы, и производил впечатление открытого, доступного для общения человека.

Потом я встречался с ним еще несколько раз в «Новом мире», дважды в Доме литераторов: на обсуждении «Ракового корпуса» и на вечере Константина Паустовского. Один раз вместе с Солженицыным и Твардовским я выступал в Доме учителя и помню, как

было обставлено появление Александра Исаевича. Он был привезен и отправлен обратно на машине Твардовского (сам Твардовский добрался на такси). Приехал, сразу получил слово, сказал что-то значительное о миссии учителя и уехал. Все понимали, что человек серьезный, его время не то что наше, стоит дорого. А наше не стоит, в общем-то, ничего. Пока он был среди нас, мы все держались, как младшие по званию. Почтительно и напряженно. А Твардовский – как деревенский отец, воспитавший далеко пошедшего сына. Когда же Солженицын отъехал, все, вздохнувши, расслабились. Но его недавнее присутствие еще ощущалось. Я перед учителями выступал неуверенно, сомневаясь, стоят ли мои пустые слова с потугами на юмор чего-нибудь на фоне наставительной речи рязанского великана. На вопрос, над чем я работаю, я от волнения сказал: «Над романом «Один день Ивана Чонкина», хотя название еще не написанного романа было тогда «Жизнь солдата Ивана Чонкина».

Тот вечер мы закончили в ресторане «Ереван», где официанты, узнав Твардовского, сбивались с ног, чтоб ему угодить.

Никогда я всерьез с Солженицыным не общался, но иной раз на ходу словцом перемолвиться приходилось. Как-то он похвалил мою повесть «Два товарища» с оговоркой, что в ней – романтика тридцатых годов. Я отчасти согласился (хотя для меня лично это была романтика моей юности в пятидесятых годах) и был при этом удивлен и польщен (немного), что «сам» Солженицын утруждал себя чтением моего текста и, значит, потратил на него сколько-то своего драгоценного времени. Другой раз я в шутку предложил ему (наступали суровые времена) войти в якобы создаваемую мною из писателей бригаду строителей-шабашников, он выразил (тоже в шутку) готовность и сказал, что может в нашей бригаде работать паркетчиком. В третий раз он попросил у меня сигарету. Я удивился: «Неужели вы курите?» (Я думал – уважительно, – что ничто человеческое ему не свойственно.) Он улыбнулся смущенно и сказал: «Иногда, когда не работаю».

В четвертый раз я сморозил нечто такое, о чем потом долго не мог забыть. Дело было все в том же «Новом мире», вероятно, в начале 1970 года. Заглянув туда с какой-то попутной целью, а скорее всего без нее, я сидел в отделе прозы, общался с Асей Берзер и Инной Борисовой, когда зашел туда Солженицын, уже, перед Нобелевской премией, очень знаменитый, в заграничной вязаной кацавейке и с рыжеватой, только что им отращенной «шкиперской» бородой без усов (как мне потом подумалось, приспособливал лицо к западным телеэкранам). «Ну и как?» – спросил он у дам, вертя головой, чтобы можно было рассмотреть обрамление со всех сторон. Дамы захлопотали, рассыпались в комплиментах: «Ах, Александр Исаевич, у вас такой мужественный вид!»

И тут черт меня дернул за язык. Моего мнения никто не спрашивал, а я возьми и скажи: «Александр Исаевич, не идет вам эта борода, вы в ней похожи на битника».

Он ничего не ответил, но так гневно сверкнул на меня глазами, что я подумал: этой фразы он никогда не забудет. Я, правда, не знал тогда, что этой бородой его очень корил Твардовский, подозревая, что она отращается для маскировочной цели. Например, для такой. Солженицын даст всем возможность привыкнуть к новому облику, а потом неожиданно сбреет бороду и, никем не узнанный, убежит за границу.

Велика и своеобразна фантазия советского человека!

Слава Солженицына

с самого первого его появления росла ровно и круто. «Один день Ивана Денисовича» неуклонно наращивал тиражи: журнал, отдельная книга, роман-газета. А вскоре в «Новом мире» появились одно за другим «Матренин двор», «Случай на станции Кречетовка», «Захар Калинта», «Для пользы дела».

Не успели мы это переварить, как подошли еще два романа (неизданных, но тут же распространившихся в самиздате): «В круге первом» и «Раковый корпус». За ними посыпа-

лись «крохотки». Мы все это немедленно заглатывали, и все, кого я знал, восхищались безграничным и безупречным талантом автора, охали и ахали, и я, захваченный общим восторгом, тоже охал и ахал.

Сразу же было приложено к нему звание (все слова с большой буквы) Великого Писателя Земли Русской. Некоторых и до него высоко ценили, но не настолько же. Про Некрасова, Домбровского, Казакова, Аксенова, Владимова, Искандера или еще кого-то (иной раз и про меня) время от времени говорили «писатель номер один», но этот сразу поднялся над всеми первыми номерами и был единственным не таким, как все, и великим. Лев Толстой – меньшей фигуры для сравнения ему не находили и стали говорить, что все у нас в литературе и в общественной жизни переменялось, перевернулось, при таком матером человецище уже нельзя писать по-старому, да и жить, как раньше, нельзя.

Чем дальше, тем больше было о нем разговоров в кругах научной и художественной интеллигенции, да и не только в них.

Партийные идеологи забеспокоились и, как только избавились от Хрущева (1964), вступили в борьбу с Солженицыным. Смысл борьбы состоял не только в том, что власть боялась распространяемой писателем правды, а еще и в том (это было важнее), что в Советском государстве никто не должен был быть умнее ныне живущего генерального секретаря ЦК КПСС и иметь большее влияние на умы, чем сам генсек и основоположники марксизма-ленинизма. Это влияние партией устанавливалось, дозирировалось, и при нарушении дозировки вожди КПСС начинали тревожиться. В собственных рядах слишком популярных (Троцкого, Бухарина, Кирова) при Сталине убивали, при Хрущеве и Брежневе отправляли куда-нибудь подальше послами. С непартийными авторитетами было сложнее, но и с ними справлялись.

И вдруг появился человек, который затмил Маркса-Энгельса-Ленина, Хрущева и Брежнева. К тому же он оказался (не сразу) как будто совсем неуправляемым. Все попытки справиться с ним проваливались, а ему были только на пользу. Советская власть объявила ему войну, и, казалось, у него нет никакого выхода, кроме полной и безоговорочной капитуляции. Но, ко всеобщему удивлению, он руки не поднял, на колени не встал, а принял бой, и, как выяснилось, вовсе не безнадежный.

Чем круче с ним боролись, тем больше он укреплялся, и мы, жители того времени, с удивлением наблюдали, как государство, которое еще недавно потопило в крови Венгерскую революцию, раздавило танками Пражскую весну, в стычке у острова Даманский проучило китайцев, с ним, одним-единственным человеком, ничего не может поделать.

Как было не восхититься таким могучим талантом, богатырем, отважным и непобедимым героем?

Советскую власть образца 70-х годов Андрей Амальрик сравнивал со слоном, который хотя и силен, но неповоротлив. Ему можно воткнуть шило в зад, а пока он будет поворачиваться, чтобы ответить, забежать сзади и воткнуть шило еще и еще. Так примерно поступал со слоном Солженицын.

Власти боролись с ним естественным для них способом, то есть наиболее глупым. Перестали печатать, прорабатывали на закрытых заседаниях, распространяли ложь и клевету и слухи, что он одновременно и еврей, и антисемит, проклинали в газетах от имени рабочих, колхозников, интеллигенции, всего народа и сделали все, чтобы он стал знаменит и поэтому неуязвим.

В 1969 году его исключили из Союза писателей. В подобной ситуации другие – Ахматова, Зощенко, Пастернак – умолкали, впадали в депрессию и во всех случаях были в проигрыше. А этот на удар отвечал ударом, давая понять, что ничего никому не спустит и готов на все. Литераторы, пугавшиеся до инфаркта малейшей критики на собрании или в газете, не

веря своим глазам, читали и восхищенно повторяли спокойное обещание великого коллеги, что свою писательскую задачу он выполнит при всех обстоятельствах, «а из могилы – еще успешнее и неоспоримее, чем живой». Потом он пошел еще дальше, сказав, что за правду не только свою жизнь отдаст, но и детей малых не пожалеет.

Некоторых людей его готовность к подобным крайностям даже шокировала, но других привела в неопишуемый восторг. Его слова передавались из уст в уста: иностранные журналы разносили их по всему миру.

В те времена, какую западную станцию ни поймашь, главной новостью был Солженицын.

Портреты его

в начале семидесятых годов украшали квартиры многих московских интеллигентов, потеснив или вовсе вытеснив прежних кумиров: Маяковского, Пастернака, Ахматову и Хемингуэя. Солженицын был очень опальный, поэтому каждый держатель портрета не только выражал свое восхищение им, но и сам как бы демонстрировал приобщение к подвигу. Наиболее отчаянные поклонники помещали его изображения за стеклами книжных полок или вешали на стену на видное место. Почитатели поскромнее и поосторожнее ставили на письменные столы перед собой маленькие в стеклянных рамочках фотоснимки – и вкуса больше, и убрать в случае чего легче.

Я портретов его не держал, рукописей не перепечатывал, но распространял его сочинения активно среди московских знакомых и возил своим родственникам в провинцию.

Еще во время дела Синявского и Даниэля

я заметил, что советская власть в поисках поддержки ее действий против неугодной ей личности согласна на малое. Скажите про опального человека что-нибудь плохое, что вы о нем знаете или думаете, что он антисоветчик, ненавидит все советское, еще лучше – все русское, а еще лучше – самое обидное, – что пишет плохо. Говорите так где-нибудь, хоть на чьей-нибудь кухне, шепотом, и это будет до нужных ушей донесено, замечено и отмечено. Если вы жертву режима осуждаете, хотя бы морально, за какие-то проступки или недостатки характера, то тем самым уже, хотя бы частично, признаете и уголовные обвинения против него. Обороняясь от соблазна согласиться с властью, пусть даже в мелочах, я давил в себе все сомнения, которые все-таки во мне возникали.

В то время, когда травили Солженицына, я и сам был в числе гонимых. Меня преследовали не так шумно, но вполне злое. Втихомолку расправиться с человеком всегда легче, чем на глазах, тем более на глазах всего мира. Василий Гроссман про себя говорил, что его задушили в подворотне. Угроза быть задушенным в подворотне (может быть, даже буквально) висела и надо мной. В 1968 году я получил в Союзе писателей первый строгий выговор с предупреждением, в 1970-м – второй с последним предупреждением. Мои книги были запрещены. Обвинения, против меня выдвигавшиеся, по тогдашним меркам и при моей еще малой известности вполне «тянули» на большой лагерный срок. И именно в этот период я неоднократно и резко выступал в защиту Солженицына, пользовался любым случаем, чтобы сказать публично, что он великий писатель, великий гражданин, и только это и, разумеется, без намека на критику. При этом сомнения мои накапливались, а после прочтения «Архипелага ГУЛАГ» умножились и окрепли, но, правда, тоже не сразу. Потому что как раз в это время над автором разразилась гроза.

В сентябре 1973 года кагэбэшники в Ленинграде схватили одну из добровольных помощниц Солженицына – Елизавету Воронянскую, заставили выдать хранившуюся у нее рукопись «Архипелага ГУЛАГ», после чего Воронянская тут же повесилась. Рукопись была конфискована. Солженицын сделал заявление иностранным корреспондентам, начался

опять шум на весь мир, скандал, который власти, не соображая, что творят, раздували чем дальше, тем больше. 13 февраля 1974 года на пике скандала Солженицын был арестован. Как раз в это время пришла мне повестка на мое исключение из Союза писателей, которое должно было состояться ровно неделей позже (20 февраля). В числе наиболее тяжких вин перед народом значились публикация «Чонкина» за границей, мои сатирические письма, выступления в защиту разных людей, и особенно – в защиту «литературного власовца» Солженицына. Мне самому грозила судьба невеселая. Но арест Солженицына настолько меня возмутил и взволновал, что переживания по поводу собственных дел у меня отошли на второй план. Я включал радио, перескакивал с волны на волну и испытывал тревогу, как при начале войны. Я не сомневался, что арест Солженицына – это только начало, дальше они с ним сделают что-то ужасное. Может быть, даже убьют. А затем повторится у нас в полном объеме 37-й год.

Это было не только мое ощущение. Мир захлебывался от негодования. В эфире на всех языках бесконечно повторялось одно имя: Солженицын, Солженицын, Солженицын... В Европе готовились массовые демонстрации и митинги у советских посольств. Советских представителей забрасывали гнилыми помидорами и тухлыми яйцами. Раздавались призывы жителей западных стран к своим правительствам порвать все отношения с Советским Союзом. И вдруг – неожиданный потрясающий поворот сюжета. Примерно как в фильме Спилберга «Список Шиндлера», когда в бане лагеря уничтожения евреев из душевых леек на голых людей вытекли не клубы смертоносного газа, а струи теплой воды. Продержав в Лефортове одну ночь, арестанта, живого, здорового, в казенной пыжиковой шапке, доставили на Запад прямо под ослепительный свет юпитеров. Некоторые потом завистливо иронизировали, что высылка Солженицына была гениально разработанной пиаровской акцией. Но она не была, а оказалась, из иронистов мало кто решился бы на подобный «пиар» без гарантированного хеппи-энда.

Солженицын всерьез шел на смерть, и (теперь можно и пошутить) не его вина, что его не убили. Но небывалый шум вокруг его имени отвлек внимание от других, не столь громких имен, чем гэбисты вряд ли упустили возможность воспользоваться. Я говорю не о себе, а о тех, кто был в гораздо худшем, чем я, положении. Солженицына за то, что он написал, выслали на Запад, а людям неизвестным только за чтение его книг давали тюремные сроки. Я был более защищен, чем эти люди, но мне мои преследователи говорили, что я не Солженицын и напрасно надеюсь, что со мной будут «чикаться» так же. Я не надеялся, и меня ровно через неделю исключили из Союза писателей и дальше семь лет пытались расправиться со мной «по-тихому». Поняли наконец, что шумная травля привлекает к жертве большое внимание и делает ее до некоторых пределов менее уязвимой.

По силе воздействия на умы «Архипелаг ГУЛАГ»

стал в один ряд с речью Хрущева на XX съезде КПСС. Что бы ни говорили о художественных достоинствах «Архипелага», сила его не в них, а в приводимых фактах. И в страсти, с которой книга написана. Говорят, что в литературе иногда страсть может стать подменной таланта и даже казаться им. Сочинения Солженицына можно очень условно разбить на три категории: 1) много таланта, а страсть в подтексте; 2) страсти больше, чем таланта; и 3) ни того, ни другого не видно.

«Архипелаг ГУЛАГ» – книга страстная, появилась в такой момент и в таких обстоятельствах, когда миллионы людей оказались готовы ее прочесть, принять и поверить в то, что в ней говорилось. Бернарду Шоу врач-окулист однажды сказал, что у него нормальное зрение. «Такое же, как у большинства?» – спросил Шоу. «Нет, – сказал врач, – не такое. Нормальное зрение у людей встречается очень редко». И это правда. Большинство советских граждан, существуя в кошмарном тоталитарном террористическом государстве, были уве-

рены, что живут в самой счастливой и свободной стране, «где так вольно дышит человек». Для того чтобы избавиться от своих иллюзий, им нужен был кто-то, кто бы (сначала Хрущев, а потом Солженицын) открыл им глаза на то, чего они сами не видели.

Эта книга перевернула сознание многих.

Но не всех. Мое сознание осталось не перевернутым. Сначала я был взволнован мировым шумом и угрозой, нависшей над автором, но угроза прошла и шум утих, и я стал думать: а что нового для меня в этом сочинении? Художественных открытий, о которых говорили на каждом шагу, я в нем не нашел. Судьбы разных людей описаны неплохо, но главное, что в них впечатляет, – сами судьбы, а не сила изображения.

Что еще?

В террористической сущности советского режима я давно не сомневался, знал, что злодеяния его неслыханны, читал рассказы Шаламова, мемуары Евгении Гинзбург и другие свидетельства, но и до того кое-что видел своими глазами. Мне было 4 года, когда посадили отца. В 11 лет я работал рядом с заключенными на полях совхоза Ермаково под Вологдой. В 17 в Запорожье – плотником на стройке, наравне с заключенными: каменщиками, подсобными рабочими, бригадирами. С некоторыми из них, сидевшими по 58-й статье (56-й украинского кодекса), я тесно общался и не имел причин сомневаться в том, что они сидят ни за что. Даже о бандеровцах и власовцах я кое-что уже знал из личного общения с заключенными, а книгу Казанцева о власовцах «Третья сила» прочел раньше «Архипелага».

Конкретные человеческие истории в «Архипелаге» мне были интересны, но после всего виденного и слышанного не потрясали. А что касается страшной статистики, то в цифры – сколько именно миллионов людей было режимом угроблено или прошло через лагерь – я готов был поверить любые. Тем более что, по моему мнению, жертвами режима, физическими или психическими, были все сотни миллионов советских людей. Поголовно. И те, кто этот режим основал, и те, кто сидел в лагерях, и кто сажал, и кто охранял, и кто сопротивлялся, и кто помалкивал. Безумные старухи, что до сих пор выходят на улицы с портретами Сталина, они тоже жертвы режима.

Как сказано у Пастернака:

Наверно, вы не дрогнете,
Сметая человека.
Что ж, мученики догмата,
Вы тоже – жертвы века.

«Архипелаг ГУЛАГ» сознания моего не перевернул, но на мнение об авторе повлиял. Оно стало не лучше, а хуже.

Я ведь до сих пор держал его почти за образец. Пишет замечательно, в поведении отважен, в суждениях независим, перед начальством не гнется и перед опасностью не сгибается, всегда готов к самопожертвованию.

Сравнивая себя с ним, я думал с горечью: «Нет, я так не умею, я на это не способен». Я сам себя уличал в робости, малодушии и слабости, в стремлении уклониться от неприятностей и в том, что свою неготовность пойти и погибнуть за что-нибудь пытался оправдать семьей, детьми, желанием написать задуманное и – самое позорное – желанием еще просто пожить.

Я смотрел на него, задравши голову и прижмуриваясь, чтоб не ослепнуть.

Но вот он стал снижаться кругами и вопреки законам оптики становился не больше, а меньше.

Меня не столько то смутило, что он под псевдонимом Ветров

подписал в лагере обязательство сотрудничать с «органами», сколько возникшее при чтении этого эпизода в «Архипелаге» чувство, что признание выдается за чистосердечное, но сделано как хитроумный опережающий шаг. Воспоминатель поспешил обнародовать этот случай, не дожидаясь, пока за него это сделают его гэбэшные оппоненты.

Сам факт меня не смутил бы, если бы речь шла о ком-то другом.

Я обычно не осмеливаюсь судить людей за слабости, проявленные в обстоятельствах, в которых мне самому быть не пришлось. Тем более я не поставил бы лыко в строку тому, кто обязательство подписал, но от исполнения уклонился и сам поступок свой осудил. Любого в такой ситуации корить было бы нехорошо. Но в данном случае речь ведь идет о человеке, который претендует на исключительную роль непогрешимого морального авторитета и безусловного духовного лидера. Он с особой настойчивостью и страстью попрекает нас в конформизме, обвиняет во всех наших слабостях и грехах, видя себя самого стоящим на недосягаемой нам высоте.

А оказывается, на доступной высоте он стоит. Но претендует на большее.

Он от исполнения обязательства уклонился, а в то, что так же могли уклониться другие, не верит. Почему же? Насколько нам известно (и сам он о том свидетельствует), даже и в тех крайних обстоятельствах жизни были люди, которые на подобные компромиссы не шли вообще.

Я продолжил чтение и, чем дальше, тем чаще морщился.

Арестованный в конце войны офицер Солженицын заставил пленного немца (среди бесправных бесправнейшего) нести свой чемодан. Много лет спустя он вспомнил об этом, написал и покался. Но меня удивило: как же не устыдился тогда, немедленно, глядя, как несчастный немец тащит через силу его груз? И если в других случаях я думал, что так, как он, поступить не мог бы, то здесь сам для себя отметил, что так – никогда не хотел бы. А когда он предположил, что, сложись его судьба иначе, он и сам мог бы надеть на себя кагэбэшную форму, я и тут знал, что это не про меня.

Мне не по душе было его злорадство при воображении о залезающем под нары наркомне Крыленко (хотя, наверное, был злодей) и тем более не понравилась ненависть автора к так называемым малолеткам. Я сам этих «малолеток» достаточно навиделся и бывал ими сильно обижаем, когда (сам малолетка) учился в ремесленном училище. Дети, пережившие войну, детдомовцы, не знавшие родительской ласки, встретившие на своем пути много злых людей, они и сами озверели, стали дерзкими, изощренно жестокими, без малейших склонностей к исправлению. Но взрослому человеку, писателю и предположительно гуманисту, а тем более религиозному, стоило бы этих безнадежных вырожденков, души их пропащие пожалеть. Они были наиболее несчастными жертвами разоблачаемого Солженицыным режима.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.